Был еще на руднике такой случай.
В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.
Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.
— Пойдет такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет.
Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство в перву голову. Рудничный смотритель как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:
— Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков да вели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу.
Надзирателем на ту пору пришелся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и без толку народ полошит, как на пожар.
— Поспешай, ребятушки, поспешай! Руднично дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога там.
За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали. Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала-плотника да и говорит:
— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте благословясь. Руднично дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у меня, как на грех, в боку колотье поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!
Бергалу податься некуда — пошел, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу все же никому неохота. Ераско даже пригрозил:
— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал, поди?
Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечишко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его.
На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надежная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки-бревна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.
Ераско Поспешай все же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотье в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.
Под рукой у Ераско много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился, — никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили и отводилась, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на черное житье.
Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью в землю ушел, а девчоночка ничего, — востроглазенькая да здоровенькая, Таюткой звали. Годов четырех она от матери осталась, а в своей ровне уже на примете была, — на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.
Поссорятся девчонки на игре, разревутся да и бегут к матерям жаловаться:
— Это все Тайка Заря придумала! Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:
— Ах, она, вострошарая! Поймаем вот ее, да вицей! Еще отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарей сходится. Узнает!
Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла, поди-ко, что она ему, как порошинка в глазу, — только об ней и думал. Придет с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о веселом больше помнила.
Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает — беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.
— Вот она у меня какая забавуха растет, а мачеха придет — все веселье погасит.
Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал, и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет:
— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то. Те, понятно:
— Ладно, ладно. Не беспокойся!
Уйдет на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.
Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мерзнет до вечера, пока отец с рудника не придет да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:
— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест.
Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обряжать Таютку парнишком. Наденет на нее братнюю одежонку да и ведет с собой. Рудобои, которые по суседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят — по горькой нужде мужик с собой ребенка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребенок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы да и наговаривает:
— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каелкой выворачивать?
Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч.
Как увидят, сейчас разговор:
— А, Натал Гаврилыч!
— Как житьишком, Натал Гаврилыч?
— Отцу пособлять пришел, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.
Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.
Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько:
— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка!
Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошел домой, заподумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.
Пришел домой, — у Таютки нос от реву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платьишко все порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка все-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась:
— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.
У Гани руки задрожали, а сам подумал:
"Верно, не лучше ли ее с собой взять. Какое ее житье, коли живым не выйду!"
Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлебкой, поужинали, и Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:
— Тятя, смотри, не забудь меня разбудить! С тобой пойду!
Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевел, в конце концов решил:
— Возьму! Коли погибнуть доведется, так вместе. Утром разбудил Таютку, обрядил ее по обычаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник.
Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведет, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто ее не зовет. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:
— Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал — ребенка с собой таскать. Не ровен час — какой случай выйдет.
Потом парень-одиночка подошел. Сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько:
— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на мое место ступай, а я на твое. Тут другие зашумели:
— Чего там! По жеребьевке надо! Давай Поспешая! Пущай жеребьевку делает, коли такое дело!
Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал: велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может.

Хотели без Поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч.
Этот Полукарпыч мысли и повернул.
— Постойте-ко, — говорит, — постойте! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитей-то помилует. Податная на это, — будьте покойны! Гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово.
Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: "На что лучше, коли без меня обойдется", и стали поскорее расходиться по своим местам.
Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про Хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте все по-другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно. Кто руду бьет, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоем шагают, да еще Полукарпыч увязался за ними же.
— Мне, — говорит, — в той же стороне работа, провожу до места.
Шли шли. Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:
— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?
Гаврило вздохнул и говорит:
— Как придется. Может, и попадем. Таютка опять:
— Она далеко живет?
Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:
— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.
— А она сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.
Таютке это любопытно. Она и говорит:
— Вот бы мне такой цветочек! Старичонко и на это согласен:
— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.
Так и заговорил ребенка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:
— Дедо, я ни за что, ну вот ни за что не испугаюсь и реветь не буду.
Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надежная поставлена, и смолье тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смолье разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блендочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.
Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.
Глазенки, известно, молодые, вострые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует — гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову.
— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!


Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:
— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Гляди-ко, — я нисколь не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хочешь заставлю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дерну за бороду — он тоже. Гляди: я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!
Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всяки штуки строить.
Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под Таюткиными ручонками так книзу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали — обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше да и говорит:
— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовем. Без зову, смотри, не ходи — осержусь!
Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала, поди-ко, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась да от скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладошку. Исподка у него руда рудой, а повернешь — там вроде маленькой чашечки либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.
А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каелки от гладкого места, да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась… Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмостился на чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша внаклон поставлена, а кругом порода узором легла и до того крепкая, что каелка ее не берет.
Старик, для верности, и по самой чаше не раз каелкой стукал. Сперва по низу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да еще приговаривает:
— Дай-ко хвачу по носу старика — пусть на меня не замахивается!
Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каелки даже малой чатинки не остается. Тут оба уверились — крепко. Побежал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:
— У меня такое есть! — и показывает свой камешок. Большие видят, — верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:
— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.
— Нет, дедо, я сама нашла. Гаврило тоже посомневался:
— Мало ли какой случай бывает.
На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:
— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.
Таютка от таких слов голосом закричала:
— Не отдам! Никому не отдам! А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала, — дескать, так-то надежнее.
К вечеру по руднику слух прошел:
— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Полукарпычем они гору руды набили да еще зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.
Всякому, конечно, любопытно. Как к подъему объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнется сперва, а потом засмеется. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут дело вовсе сурьезное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу да и кричит:
— Это вот тот большой парень зеркало открыл!
Другие отзываются:
— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!
А Таютка помалкивает да ручонкой крепче свое маленькое зеркальце прижимает.
Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к Ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем:
— Поспешай, ребятушки, к подъему! Не до ночи вас ждать! Рудничное дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!
А сам, по собачьему положению, другое смекает:
"Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину открыли. Тогда мне, а не смотрителю награда будет".
Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да еще над Ераском насмехается:
— Вот что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.
Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.
А смотритель, знай, подзуживает:
— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.
Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал:
"Напишу-ко я грамоту заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется".
Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то открыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?
Ераско это с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого барина из заграничных земель была. У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин ото же придумал:
"Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду — людей посмотрю, себя покажу".
Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.
Только дорога-то шла через немецки земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые.
Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее, — из таких все ж таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать.
— Вот невеста так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезешь, у соседей в глазах зарябит.
Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:
— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.
Барин, понятно, закипятился:
— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?
А немка, знай, посмеивается.
— По нашим, — говорит, — обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.
Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Свое твердит:
— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.
Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на смех, дескать, поднимут, — он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начетисто показалось али другая какая причина вышла, привез-таки свою жену в Сысерть и говорит :
— Сиди тут.
Ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, сказывают, и не разберешь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедут будто туда с целой оравой да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маята. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.
Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.
— Показывай, какое зеркало нашел!
Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак не возможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое:
— Пойду и пойду!
Тут еще баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:
— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!


Делать нечего, стали их спускать. Начальство все в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блёндочки ей светит. Довел-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:
— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!
Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня свое:
— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!
Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась.
Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.
Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут, и никак их ничему не научишь.
Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый наконешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!
А зеркала в горе не стало: все осыпалось.


Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно — у кого.

